

Глава 1

ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ ПОЕЗДА!..

Сизый дымок вьется над дачной станцией. Приходят и уходят поезда. Одни идут на Киев, другие из Киева... Тянутся длинные воинские эшелоны. В запыленные окна вагонов видны забинтованные головы, бескровные лица, туго стянутые монашеские косынки сестер и свешивающиеся с верхних полок солдатские одеяла. На площадках и на ступеньках вагонов сидят молодые солдаты с забинтованными обрубками рук и ног; прыгая на костылях и теряя стоптанную туфлю, жадно выглядывает из дверей раненый и, поймав сочувственные взгляды женщин, ухарски машет рукой. Паровоз с коротким свистком дергает вагоны, и эшелон медленно проплывает мимо, туда, на Киев... А навстречу ему уже торопится другой длинный состав товарных вагонов. В распахнутых настежь дверях теплушек стриженные головы, безусые молодые лица, рассыпанные по щекам веснушки цвета спелой ржи, молодые васильковые, карие и черешневые, притуманившиеся глаза. Сыплются из солдатских карманов запасенные дома подсолнушки, ухает под тугими пальцами гармонь, и дружно из вагона в вагон подхватывается песня.

— Мене люды визьмутъ... тебе люды визьмутъ...
Моя не будешь. Эх, жаль! Жаль!..

Исчезает вдаль паровоз. Глохнет под стук колес песня. Долго смотрят вслед эшелону бабы с завязанными на затылках концами платков... Что делать? Война... Солдаты... Туда едут здоровые, многие ль вернутся хоть калеками... Не на гулянку едут хлопцы — на войну... Напал на родную землю германец, выставил проклятый кайзер Вильгельм закованную в железо армию, вот и поспешают они, молодые, наспех обученные новобранцы, чтобы сложить свои головы за веру, царя и отечество... Эх, жаль... Жаль...

Война... А к маленькой станции, лязгая колесами, расшатанные пассажирские вагончики подвозят дачников. Выгружаются на платформу чемоданы и картонки, звенят детские голоса, среди встречающих и провожающих молодые нарядные женщины, мамушки, нянюшки, старухи... Подлетают к станции экипажи, пролетки; сбруя на лошадях блестит под солнцем начищенными бляхами, на высоких облучках степенные кучера в бархатных безрукавках. Тянутся вдоль железнодорожных путей нарядные дачи с высокими шпилями на крышах. Из летних кухонь вьется аппетитный дымок, на клумбах цветут розы... Не пустуют дачи: душно сейчас в городе, на зеленый корм, на широкий воздух рвутся люди... Прошла весна, уже давно похозяйничал в лесу ветер, помог он столетним дубам развернуть длинные клейкие листочки. Давно раскудрявились беленькие, словно умытые зим-

ним снежком березки, загустел орешник, вытянулись новые побеги тонкой рябинки, на желтых стволах сосен заблестели янтарные капельки смолы. А за лесом, за экономией пана Песковского, в глухой глуши словно пристыл к земле арсеньевский хутор — не шевельнет закрытыми окнами, не потянет уютным дымком, не хлопает наглухо закрытыми дверьми, не перекликается веселыми молодыми голосами...

Все эти годы, как только у девочек кончались экзамены, Арсеньевы переезжали на свой хутор. С первым весенним солнышком Динка начинала считать дни, оставшиеся до переезда. И каждый раз, обегая знакомые, дорогие ей местечки, удивлялась, как вырос и разросся сад, какая вкусная вода в холодном, обжигающем губы роднике, как ласково шумит ореховая аллея. Динка уверяла, что даже лягушки на пруду сразу узнают ее и, раздуваясь от крика, всплывают наверх... Но не только для Динки, для всех Арсеньевых переезд на хутор был всегда радостным событием, к которому исподволь готовились всю зиму, мечтая о летнем отдыхе. И каждый раз осенью, переезжая в город на долгие зимние месяцы, они грустно расставались с любимившимся им хуторком. Динка, вспоминая о нем в холодный, снежный вечер, жаловалась, что все еще слышит стук молотка, которым Леня забивал окна и двери...

Арсеньевы никогда не держали сторожа. Зате-
рянная в глуши между двумя селами хатка зимо-

вала одна... Она стояла вдалеке от дороги, и только птицы, разгуливающие по саду, оставляли свои мелкие росчерки на запорошенных снегом дорожках да столетние дубы сбрасывали на крышу рыхлые комья снега, прикопившегося на их ветках.

Зато уж ранней весной, когда из прелой черной земли выбивались первые зеленые ростки, а на склонах железнодорожной насыпи появлялись незатейливые желтые цветочки, хутор начинал оживляться наездами молодых хозяев.

Чаще всего это были Ленья и Вася; они приезжали сюда на воскресный день готовиться к экзаменам. Иногда с ними увязывалась Динка.

— Ну зачем она нам? — сердился Вася. — Земля еще сырая, наберет она полные галоши воды, да еще и простудится!

— Динка не простудится, — убежденно говорил Ленья. — Пусть побегает на воздухе!

— Но ведь мы же едем заниматься. Вечно ты что-то осложняешь, Леонид, — ворчал Вася.

Динка делала постное лицо и, прикрывая ладонью румяную щеку, начинала жалобно причитать:

— Воздуха вам для меня жалко, да? Всю зиму я не дышу, посинела уже вся, а вам жалко?

Ленья прыскал от смеха, Вася смягчался:

— Ну поезжай. Только смотри не лезь куда попало и не мешай нам заниматься!

На хуторе, обегав все дорожки, Динка успевала навестить Федорку, наломать мохнатой вербы, провалиться в пруд и, волоча за собой пальто, мокрая и грязная, просовывала свой нос в дверь, вызывая Леню:

— Лень, Лень... Не бойся, Вася, я сейчас уйду...
Я только на минутку!

Схватив Леню за рукав, она тащила его за собой:

— Пойдем скорей! Понюхай, как пахнет земля.
Смотри, уже листочки ландыша, а это будут фиалки... Вот приложись ухом к земле... Послушай, что там только делается...

Леня ложился на землю, нюхал, слушал и, глядя в сияющие глаза Динки, со всем соглашался.

А Вася, стоя на крыльце, качал головой.

— Ну, вы, двое сумасшедших, где теперь сушиться будете?

Сушиться и ночевать Динку отправляли на печку в Ефимову хату. Ефим и Марьяна Бессмертные за все эти годы близкого соседства крепко подружились с Арсеньевыми.

— Лучше родни они нам, — говорил Ефим.

Зимой он часто ездил в город, привозил деревенские новости и подолгу сидел за столом с Мариной, опрокинув на блюде чашку и советуясь с ней обо всех делах. Перевозил на хутор тоже Ефим. Являлся он задолго до рассвета и, помахивая кнутом, торжественно говорил:

— Ну так что, поехали?

На хуторе были уже очищены дорожки, подрезаны кусты малины.

Марьяна, туго обвязав платком голову, загодя мазала стены, на полу стояли белые лужицы, гремели ведра, настезь распахивались окна, со скрипом открывались отсыревшие за зиму двери; на дымящей кухонной плите булькала картошка.

К приезду хозяев Марьяна выпекала свежий хлеб и встречала их на крыльце светленькой обновленной хатки с хлебом-солью на вышитом рушнике. Весь первый день девочки вместе с Леней и Васей занимались разборкой вещей, вешали занавески, наводили привычный уют.

Вечером все собирались на террасе за большим столом, с аппетитом ели горячую, пропахшую дымом картошку, запивая ее молоком, и, опьянев от весеннего воздуха, едва добирались до своих постелей.

Хутор был в трех верстах от дачной станции, Марине приходилось каждый день ездить в город на службу. Возила ее все та же одноглазая лошадь Прима, купленная в первое лето жизни на хуторе.

Бедная Прима в счастливую пору своей жизни была одной из лучших верховых лошадей. Она ходила под седлом грациозной поступью иноходца, и начищенная шерсть ее блестела как зеркало, но с тех пор как однажды колючая ветка ели хлестнула ее по глазам и один глаз почти совсем затянулся бельмом, Прима была выведена из конюшни и отправлена на черный двор.

К Арсеньевым она попала за небольшую плату, как уже мало на что пригодная лошадь. Но на хуторе Прима ожила. Она стала необходимым членом семьи. Динка не хуже заправского конюха ухаживала за ней: чистила ее, купала, баловала, кормила овсом, и благодарная Прима, забывая про свой слепой глаз, снова почувствовала себя верховой лошастью.

Появился на хуторе и белый Динкин Нерон. Он был в большой дружбе с ефимовским Волчком. Обе собаки были мохнатые, пушистые и совершенно неизвестной породы. Но Динку это никогда не смущало.

— Дворянги еще умнее, — уверяла она.

И лошадь и собака зимовали у Ефима, но с появлением Арсеньевых они с восторгом возвращались на хутор, чтобы служить своим хозяевам.

Так незаметно бежали дни. Дождливую осень сменяла снежная зима, потом наступала весна и солнечное лето.

А годы шли... Под окнами березки подросли,
Не раз к земле их буря пригибала...

И много событий произошло в семье Арсеньевых, с тех пор как озорная, веселая Динка в первый раз появилась на хуторе. События эти были нерадостными. Первым большим горем для всей семьи была смерть дедушки Никича. Особенно тяжело пережила ее Динка. Незащищенное сердце ее еще не могло и не умело мириться со своими потерями.

Когда Никич умирал, Динке все казалось, что смерть не придет за ним, если она, Динка, будет его сторожить... Она перестала спать по ночам и, встав с постели, тихо брела по темному коридору на свет ночника. В комнате Никича всегда горела печка, дверцы ее были открыты, поленья уютно потрескивали. Никич, обложенный подушками, полулежал в своем любимом «Сашином» кресле. Сухонькая фигурка его, закутанная в одеяло, казалась со-

всем детской; седая голова на тонкой исхудавшей шее покоилась на подушке. Никич никому не позволял дежурить около него ночью; на столике рядом с креслом всегда стояло приготовленное ему на ночь питье и порошки от кашля. Казалось, все в доме спали, но стоило только старику закашлять, как из спальни неслышно появлялась Марина. Ленья давно уже отвоевал себе право ставить свою раскладушку в комнате Никича, Мышка оставляла на столике звонкий школьный колокольчик и брала с Никича слово звонить, если ему что-нибудь понадобится. Старика утешала и расстраивала забота домашних, особенно трогала его Динка.

— Ну, чего бродишь, полуношница? — тихо спрашивал он, заведя при свете ночника жалкую фигурку в длинной ночной рубашке. — От смерти, что ли, убережь меня хочешь?

Динка дрожащими руками обвивала худые плечи старика, прижималась щекой к его щеке:

— Убережь хочу...

— Ох и глупая ты... Как только жить будешь?

— Вместе будем... — всхлипывала Динка.

— Да где же нам вместе? Я свое отжил, до самого края дошел. Вишь, ноги уже не держат. А тебе еще жить и жить...

— Не надо мне, ничего не надо. У меня сердце разрывается... — уткнувшись в его плечо, плакала Динка.

Никич с усилием поднимал ее голову.

— А ты послушай меня. Мы ведь столько с тобой разговоров переговорили. Вот еще какая ма-

хонькая ты была, а понимала меня. И теперь пойми... От смерти никуда не денешься. За себя мне не страшно, за вас страшно. Мать твою мне жалко. И ты не плачь, не тревожь ее. Смирись, девочка.

Никич замолчал. Пламя от печки, разливая по комнате таинственный свет, мягко колебалось, как будто кто-то тихо взмахивал легким и прозрачным шарфом, бросая на стены то синие, то красные тени. От этих неслышных взмахов свет в ночнике дрожал и колебался, вытягиваясь длинным красным язычком. Казалось, вот-вот он вытянется в последний раз, мигнет и погаснет. Никич тяжело дышал, в груди его что-то хрипело, рука, гладившая Динкины волосы, бессильно падала на колени.

— Иди... Помни, что я тебя просил...

Динка молча кивала головой, слова застревали у нее в горле, ноги не слушались.

— Ну, ну... — ободряюще улыбался ей Никич. — Ты ведь папина дочка.

Один раз, задержав ее руку, Никич сказал:

— Запомни слова мои. Всякий человек в жизни должен быть стойким. А тебе это особо надо. Ты ведь во все суешься. Вот и вспоминай почаще: Никич, мол, велел мне быть вдвое стойкой...

Слова Никича навсегда остались в памяти Динки. В самые трудные минуты своей жизни она вспоминала их с грустью и благодарностью. Но не успела еще осиротевшая семья оправиться от потери старого друга, как пришла новая беда. Однажды под осень, когда Арсеньевы уже собира-

лись переезжать и город и сидели на террасе среди сложенных вещей, на хуторе появился редкий гость Кулеша. Он появился, как всегда, неожиданно, словно вырос перед глазами. И все сразу замерли в предчувствии беды. Одна Марина не растерялась.

— Что-нибудь случилось, Кулеша? — спросила она.

Кулеша снял шапку, вытер вспотевший лоб.

— В этот раз я плохой вестник, — сказал он.

Мышка, словно защищаясь, подняла руку, Динка вскочила, у Алины упало сердце. «Отец...» — с ужасом подумал Леня и встал рядом с матерью. Но она только спросила:

— Он жив? Говорите сразу.

— Ну что вы, что вы... — замахал руками Кулеша, и мать с улыбкой оглянулась на детей.

Никогда не забудут дети эту строгую улыбку на белом и холодном как снег лице матери.

— Он арестован, — сказал Кулеша и стал рассказывать, а Марина слушала его, задавая короткие вопросы, и, глядя на мать, никто из девочек не проронил ни одной слезы.

Судили Арсеньева в Самаре. В этом городе, еще молодым инспектором «Элеватора», он был душой и организатором бастующих рабочих, здесь его бесстрашный и гневный голос поднимал их на борьбу с самодержавием.

В день суда огромные толпы народа запрудили улицы... К Марине, приехавшей на суд с Леней, из

толпы рабочих вышел старый элеваторский рабочий Федотыч.

— Не бойся ничего, Арсеньевна... Рабочий класс не выдаст... Нас много, — сказал Федотыч.

Марина молча пожала ему руку.

Она ждала всего, самого худшего... Но молчаливая угрожающая толпа рабочих, тесно окружившая здание суда, сделала свое дело... Правительство не решилось вынести смертный приговор; Арсеньев был присужден к десяти годам одиночного заключения с последующей пожизненной ссылкой...

Марина вернулась измученная, но не упавшая духом, такая же, какой всегда знали ее дети.

— Не плачьте, — сказала она. — Революция открывает все тюрьмы!

Прошла первая тяжелая зима. Арсеньев отбывал заключение в Самаре. Знакомый Марине старый надзиратель тюрьмы тайком передавал Арсеньеву с воли записки, книги... Товарищи носили передачи... Отец писал ласковые успокаивающие письма...

Жизнь постепенно вошла в свою колею, но Арсеньевых ждало еще одно семейное горе...

Окончив гимназию, как-то неожиданно заневестились и вышла замуж Алина... Муж ее никому не нравился, в семье Арсеньевых он казался чужим, пришлым человеком, но ни слезы сестер, ни уговоры матери не подействовали на Алину, и сразу после свадьбы они уехала с мужем на Дальний Восток, в чужую ей семью. И только прощаясь со своими уже на перроне, Алина вдруг испугалась

предстоящей ей разлуки и, бросившись к матери, горько заплакала.

— Алина, голубка моя!.. Еще не поздно, вернемся домой... — уговаривала дочь Марина.

— Домой, домой! Алиночка, родненькая, пойдем домой!.. — цепляясь за сестру, умоляла Динка.

Мышка молча плакала, роняя слезы на свадебный букет. Леня бросился в вагон за Алининым чемоданом... Муж Алины, стоя на подножке, задержал его.

— Я не понимаю, что здесь происходит? — холодно сказал он и, подойдя к Алине, взял ее за руку.

Алина вытерла слезы и пошла в вагон. Поезд отошел. Осиротевшая семья долго стояла на перроне, глядя на исчезающие вдали красные огоньки. И снова кое-как наладилась жизнь, только за столом опустело место старшей сестры да на светлом лице Марины прибавилась новая глубокая морщинка. Жить становилось трудно. Фирма «Реддавей», где служила Марина, после ареста мужа уволила ее. Мышка, окончив семь классов гимназии, пошла на краткосрочные курсы сестер; Леня поступил в университет и целый день бегал по урокам; Динка училась. Ей не удалось сдержать свое обещание учиться только на пятерки. Она получала пятерки только по тем предметам, которые любила, а любила она, по ее собственному выражению, «больше всего на свете» уроки словесности и своего учителя словесности.

— Василий Иннокентьевич уважает чужие мысли, — важно говорила она дома. — Он никогда ме-

ня не одергивает... И вообще... — Динка обводила взглядом своих домашних и многозначительно добавляла: — Василий Иннокентьевич знает, кого нужно ругать, а кого хвалить.

О себе она, конечно, думала, что ее нужно хвалить, и тогда она «горы своротит». Учитель словесности читал вслух ее сочинения и ставил ей красным карандашом жирные пятерки. Динка очень гордилась похвалой любимого учителя, но, стараясь не показать этого дома, придя из гимназии, словно мимоходом говорила:

— Василий Иннокентьевич опять читал в классе мое сочинение, и что ему там понравилось, не знаю...

Зато уж по другим предметам, по математике и особенно по алгебре, Динка даже с помощью Лени с трудом добывала четверки, а иногда, скатываясь до тройки, сердито говорила:

— И кто это придумал так крутить человеку мозги... Ну еще геометрия туда-сюда... Там хоть теоремы, их каждый дурак может наизусть запомнить. Ну, физика еще ничего, там опыты интересные, а уж алгебра — это прямо издевательство!

Шел второй год войны. После рождественских каникул ушел на фронт Вася. В семье прибавилось новое беспокойство, Динка выбегала на улицу и подолгу стояла у ворот в ожидании почтальона. Писем ждали теперь не только от отца и Алины, ждали с нетерпением серых, солдатских треугольников от Васи...

Письма читали сообща, тревожно вслушиваясь в короткие, ласковые строчки, пытаюсь про-